

КРАСНАЯ НОВЬ

ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

О Р Г А Н
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ДЕКАБРЬ

№ 12



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1 9 3 7

Выборное право трудящихся

А. Макаренко

1

Лет тридцать пять назад, — перед японской войной — самое слово «выборы», кажется, отсутствовало в лексиконе среднего трудящегося человека в России. Очень редко оно встречалось в книгах, если книги говорили о других странах, но другие страны были так далеки, что даже зависти не вызывали.

Мой отец был рабочий, и поэтому я учился на медные деньги. Хотя слово «выборы» и было мне известно, но я очень редко мог употребить его в разговоре: по какому случаю, в самом деле, оно могло прозвучать в моей речи?

Мне, как и другим представителям моего класса, случалось, конечно, слышать, что есть такие выборные высокопоставленные лица — губернские и уездные предводители дворянства. Никогда в жизни я не видел такого предводителя, ни живого, ни мертвого. Мои жизненные пути и жизненные пути предводителей почему-то не пересекались. Это происходило, может быть, потому, что наши жизненные пути были расположены в различных плоскостях: пути мои и таких людей, как я, были проложены где-то по земле, и гораздо выше, очень высоко, недосягаемо для глаза проходили пути дворянские. Вот я сейчас вспоминаю и никак не могу вспомнить, кто из моих знакомых был дворянином? Правда, в 1914 году в городе Полтаве меня, по особой протекции, рекомендовали в репетиторы в семью полтавского губернатора Богговута. Я почти обрадовался,

если вообще можно говорить о радости в таком случае. Но это репетиторство обещало мне хороший заработок, а кроме того мне хотелось посмотреть на потомка одного из героев двенадцатого года, генерала Богговута, убитого под Тарутиным, которого и Л. Н. Толстой помянул добрым словом. Мои расчеты не оправдались. Я занимался с племянником губернатора несколько месяцев, но кроме этого племянника, чрезвычайно несимпатичного и глупого мальчика, я никого из губернаторской семьи не видел. Встречал я лакеев, каких-то приживал, да нечто вроде гувернера, все такая же наемная рабочая сила, как и я. Они допускали меня в губернаторский дом через черный ход, они торговались со мной о цене и не позволили мне ничего лишнего сорвать с именитого работодателя, они же раз в месяц вручали мне конверт, в котором вовсе не были написаны благодарственные слова за мою помощь губернаторской семье, а только помещались обусловленные пятнадцать рублей. Мои пути и пути дворянской семьи Богговутов помещались в настолько различных плоскостях, что Богговуты даже не могли выслушать мое мнение о способностях и прилежании члена их семьи — моего ученика, а нужно полагать, что мое мнение сколько-нибудь их все-таки интересовало.

Если в этом во всех отношениях замечательном случае наши пути не пересеклись, то какое же отношение могли иметь ко мне и к таким, как я, какие-то выборы предводителей? Как выбирались предводители дворянства,

губернские и уездные, для чего выбирались, каким способом, явным или тайным, какие там страсти кипели во время выборов, ни я не знал, ни все мое общество. Не только не знали, но и не пытались знать. Ведь даже это, такое далекое от нас, абсолютно недоступное, чванливое и богатое дворянское общество, обитавшее на таких высотах, куда даже наши взгляды не достигали, само было обществом рабским, пресмыкающимся, обществом, о котором так хорошо в свое время было сказано Лермонтовым:

Перед опасностью позорно-малодушны
И перед властью презренные рабы.

А многие из нас лучше знали Лермонтова, чем живое дворянство перед японской войной. Не видев дворянства в глаза, мы знали о его человеческом и общественном ничтожестве, знали о ничтожных страстях каких-то там дворянских выборов и были всегда готовы исполнить пророчество того же Лермонтова:

И прах наш с строгостью судья и
гражданина
Потомок оскорбит презрительным
стихом...

хотя и никак, пожалуй, не предвидели, что мы сами так скоро окажемся этими «потомками».

Но между нами и дворянством лежало еще несколько сфер, обладающих также какими-то выборными правами. Эти сферы мы уже могли наблюдать невооруженным глазом, но только в общей картине их,— в настоящие тайны их деятельности и их прав мы тоже проникнуть не могли. Это были те «круги населения», которые выбирали городское и земское «самоуправление». Такие выборы тоже происходили более или менее секретно от трудящегося населения. Может быть, у них происходила предвыборная борьба, может быть, у них выставляемы были плохие или хорошие кандидаты, произносились речи, кипели страсти? Кто его знает. Мы даже не знали имен тех людей, кто участвовал в выборах. Кажется, их было так немного, что они все могли поместиться в одном зале, представляя большой город с населением около ста тысяч, и, насколько

я помню, голосование у них производилось шарами, что возможно только в небольшом «своем» обществе. О всех процедурах их избирательной кампании мы не могли узнать даже из газет,— печатались только имена избранных членов городской или земской управы, но и в этих именах для нас не заключалось никакой сенсации. Почему-то так выходило, что городские головы и члены управ десятилетиями занимали свои посты. В городе Кременчуге, где я провел большую часть жизни, с тех пор, как я начал себя помнить, был городской голова Изюмов. Я видел его сравнительно молодым человеком, потом пожилым, потом стариком, потом помолодевшим при помощи черно-синего гребешка,— а он все ходил городским головой, и все в городе прекрасно знали, что Изюмов и есть от природы городской голова, и что никто другой им быть не может. С ним, конечно, не вязалось представление о каких-то там выборах, об этом никто не думал, не думали, вероятно, и сами избиратели. В нашем городе не было даже такой моды— различать: вот это избиратель, а этот лишен избирательных прав. Очевидно, небольшая честь заключалась в том, чтобы раз в три года положить белый или черный шар направо или налево. Направо мог стоять Изюмов, налево какой-нибудь другой купец, похожий на Изюмова, а может быть и никто не стоял, ибо зачем стоять, если есть Изюмов, который мирно сидит себе на месте городского головы вот уже столько лет, никого не трогает, чинит мостовые, собирает налоги, назначает учителей в полдюжины начальных школ, а вообще «человек честный и приличный».

Такая штука называлась городским самоуправлением или земским самоуправлением,— штука, собственно говоря бедная, настолько бедная, что пожалуй и не стоило бы лишать нас права голосовать за Изюмова, а с другой стороны и для нас не было смысла добиваться по добного «избирательного права». Однако, как это ни странно, это самоуправление вызвало заметное умиление у многих интеллигентских душ, и даже самое слово «земство» некоторые произносили с дрожанием голоса. Тогда не

устанавливали перечислять и описывать в книгах разные земские подвиги, между которыми назывались постройка дорог, хотя все хорошо знали, что как раз дороги в нашей стране блистательно отсутствуют, и дорогой называлась такая часть земной поверхности, которая наименее приспособлена для езды. С таким же умилением говорили и о городском самоуправлении, несмотря на то, что все наши города, за исключением, может быть, одного Петербурга, жили бедно, грязно, переполнены были клопами и собаками и только в очень незначительной степени напоминали европейские города.

Городское и земское самоуправление, сопровождающие их выборы и карьеры отдельных лиц, реализуемые в отдельных выборах, были той жалкой «демократической» подкладкой самодержавия, которую мы, пролетарии, даже не ощущали. Наша жизнь помещалась за границами даже такой общестственности, а ведь наша жизнь это была жизнь всего русского народа. К нам эта общестственность изредка прикасалась самым «теплым» своим боком, боком благотворительности. У столпов общестственности, у этих городских голов и членов, у их жен и дочерей иногда начинало зудеть под какой-нибудь идеалистической ложечкой, тогда, смотришь, на одной из второстепенных улиц воздвигается народный дом, — один на губернию, который только потому назывался народным, что не совсем удобно было называть его «простонародным». В другой раз, в таком же порядке рука, «дающая и неоскудевающая», начинает строить приют для сирот, очевидно для сирот наших, пролетарских, но на открытии приюта пьют и закусывают, и ухаживают за дамами, и вообще кокетничают и добрыми сердцами и неоскудевающими руками отнюдь не пролетарии, а все та же «общестственность». В третьем месте строится дешевая столовая, в четвертом вечер для бедных студентов гремит музыкой и щеголяет прогрессивным духом. Только теперь с высот социалистического общества видно, сколько и во всей этой общестственности, и в ее выборном праве, и в ее благотворительности, — было настоящего похабного цинизма, насто-

ящей духовной человеческой нищеты, сколько оскорбления для действительного создателя жизни и культуры, — для трудящегося человека. Но и тогда трудно было кого-нибудь обмануть из «простого» народа: народ прекрасно понимал, что ему положено судьбой работать по 10—12 часов в сутки, жить в лачугах, в темном невежестве, продавать труд своих детей, периодически переживать голод и всегда дрожать перед призраком безработицы. Это была определенная, освященная богом, веками и батюшками доля, и то обстоятельство, что где-то кого-то выбирают господа, в сущности, мало кого занимало.

2

После 1905 года, года, наполненного нашей борьбой и нашим гневом, на сцене «общестственности» были поставлены новые декорации. В них уже просвечивали европейские краски. Правда, самое слово «конституция» считалось крамольным словом, но все было сделано, почти как в Европе: происходили выборы, боролись партии, произносились речи, принимались запросы, обсуждались законы, разгорались страсти и аппетиты. Российская история вступила в новую эпоху. Прежде было в моде щеголять открытым цинизмом самодержавия, азиатской откровенностью насилия. Теперь должны были войти в обиход утонченные европейские формы. Законными и будничными сделались слова «прогрессивный», «демократический», «свобода», даже слово «народ» начало выговариваться без прежнего неизменного обертона «простонародный». Высшая политическая техника позволила даже кадетам произносить такие речи, что у полицейских дух захватывало. Государственная Дума казалась приличным учреждением, но восторгались этим обстоятельством очень немногие, восторгались те, которые обладали «европейским» вкусом, — воспитанные на английских и французских образцах. Настоящим хозяевам жизни этот стиль не очень нравился. Романовская фамилия, романовский двор, аристократия, дворянство не могли так скоро отвыкнуть от привычной азиатской простоты отношений, от

непосредственности и искренности кнута, от неприкрытого, откровенного грабительства. Эпоха Государственной Думы не выработала у нас ни щепетильной эlegantности лордов, ни утонченного остроумия либерала, ни важности баронов, ни «мудрой добродетельности» фермера. Европейские запахи парламентаризма казались запахами неприятными. Николай II даже в 1913 году писал министру внутренних дел Маклакову о своем желании распустить Государственную Думу, чтобы вернуться к «прежнему, спокойному течению законодательной деятельности и притом в русском духе». Этот самый «русский дух», не дававший покоя Николаю II, в сущности был настоящим средневековым азиатским духом, духом шахов и падишахов, беев, пашей и беков. И он так сильно, этот дух, заполнял политическую атмосферу, что европейские конституционные мечты остались гласом вопиющего с трибуны. Изящное и пахнущее духами буржуазное избирательное право, фасонно украшенное формулой о всеобщих, равных, прямых и тайных выборах, самый тонкий, лакированный и полированный инструмент классовой власти буржуазии, Николаю II и его башибузукам казался чересчур нежным и непригодно-хрупким инструментом, сравнительно с испытанными «истинно-русскими» средствами: нагайкой и виселицей.

Но «прежнее спокойное течение законодательной деятельности» не так легко было восстановить, ибо хорошо помнился 1905 год, помнилось гневное выступление пролетариата и крестьянства, вспоминался манифест 17 октября, вспоминались и московское восстание, и великая забастовка, и пожары помещичьих усадеб.

Рабочий класс и стоящая во главе его партия большевиков знали, что и от самого наивероятнейшего избирательного закона нельзя ожидать коренного улучшения жизни трудящихся, но нужно ожидать улучшения условий борьбы. Поэтому возвращение к «деятельности русского духа», т. е. возвращение к откровенному разгулу азиатского самодержавия, не могло удалиться вполне, но удалось частично. Если на выборах в первую и во вто-

рую Государственную Думу еще можно было слышать кое-какие европейские запахи, то уже в 1907 году они были основательно испорчены азиатскими привычными актами «деятельности в русском духе»: виселицы Столыпина, погромы, резиновые палки в руках членов «Союза русского народа», отправка на каторгу всех социал-демократов второй Государственной Думы, — вот те самобытные спокойные орнаменты, которые с воодушевлением прибавил Николай II к формуле четыреххвостки. А закон 3 июня 1907 года и самому избирательному закону придал характер прямодушно азиатской бесцеремонной откровенности. По этому закону только крупные землевладельцы получили право непосредственно посылать в губернское избирательное собрание своих выборщиков, да первая (богатая) курия в городах получила приличное представительство. Все остальные граждане должны были пройти через несколько ступеней разных собраний, уездных и губернских, чтобы добиться одного-двух мест в губернском избирательном собрании. Закон был сделан цинично-грубо, даже без заботы о ловкости рук; по наглости это было нечто неповторимое. По такому закону рабочие и крестьяне располагали всего 9% голосов в губернском избирательном собрании, т. е. фактически не могли послать ни одного депутата. Это было явное, открытое издевательство дворянско-буржуазного блока над интересами и жизнью трудящихся. Даже те немногие представители рабочего класса, которым удалось прорваться в Государственную Думу, скоро были выданы этим милым учреждением в руки полиции.

В это время окончательно исчезли самые слабые запахи европейского парламентаризма, даже Родичевы притихли, политическими фигурами России сделались Пуришкевичи и Марковы, Родзянки и Гучковы, да и те последние были предметом ненависти Романовых, ослепление и идиотизм которых достигли действительно пределов патологических: царица Александра Федоровна более всего ненавидела Гучкова, — «своя своих не познаша».

Вся эта «выборная» политика не

только была направлена против трудящихся, но и сопровождалась откровенной ненавистью правящих классов, злопахательством правительственных, правых и октябристских газет. Дворянство и буржуазия хотели править русским народом, хотели до последней нитки грабить его, хотели держать его в нищете и темноте, но неспособны были сделать хотя бы приличное лицо перед народом, хотя бы минимальную заботу проявить о нем. Рабочий и крестьянин, подавая свой голос, окружен был бандитскими, грабительскими мордами, жадными руками эксплуататоров. Никакой Европы, — русские господа никак не могли отвыкнуть от крепостных привычек.

И не считаясь уже ни с какими европейскими этикетами, не считаясь даже с мошеннически составленным третьиюньским парламентом, царское правительство продолжало свое темное и дикое дело. Если в 1905 году в тюрьмах находилось 86 тысяч человек, то в 1912 году их было 182 тысячи. На каторге в 1905 году было 6 тысяч, а в 1913 году 32 тысячи. Можно сказать — так росло участие трудящихся в «общественной» деятельности.

В таком же отношении к успеху парламентаризма стояло и благосостояние рабочего класса. Из года в год параллельно расходились кривые: заработная плата понижалась, цена на хлеб повышалась. По отношению к 1900 году та и другая кривые расходились в разные стороны на величину до 40%. Наконец, 1912 год «подарил» русскую историю ленским расстрелом.

В деревне Столыпин приступил к разорению крестьянства. Закон 9 ноября должен был привести к полному и решительному разделению его на кулачество и на деревенский пролетариат, — необходимое условие расцвета промышленного и земельного капитала. Об этой «реформе» Ленин писал: «Столыпин и помещики вступили смело на революционный путь, ломая самым беспощадным образом старые порядки, отдавая всецело на поток и разграбление помещикам и кулакам крестьянские массы».

Эта деятельность Столыпина, имевшая целью покончить с последними

остатками феодализма в деревне (общинной) и создать широкий рынок дешевой пролетарской силы, — со временем должна была вывести Россию на «настоящий европейский» путь, на путь типичного капитализма, в последнем счете она должна была привести ее к европейскому демократизму, т. е. к утонченному приличию буржуазного избирательного права.

3

Это утонченное европейское приличие, этот демократический костюм хищнического империализма в особенности привлекал меньшевиков и эсеров. Недаром после свержения самодержавия они затеяли такой нежный флирт с Антантой. Октябрьская революция спасла советский народ от этого утонченного, наиболее ханжеского, наиболее развращенного вида эксплуатации.

Стоит почитать историю любой европейской демократии, чтобы увидеть всю безнадежную глубину того мошенничества, которое называется на Западе до сих пор всеобщим, прямым, равным и тайным избирательным правом. Не нужно при этом перечислять все отдельные уловки и исключения, которые делают это право и не всеобщим, и не равным, и не прямым, и не тайным. Политическая жизнь, парламентская борьба партий так построены на Западе, что невозможным становится никакое революционное законодательство, никакие кардинальные социальные реформы. Если даже допустить, что в один из европейских парламентов вдруг будет избрано большинство депутатов, отстаивающих интересы трудящихся, это будет обозначать только одно: начало гражданской войны, ибо никакому голосованию, нарушающему интересы буржуазии, она не подчинится без боя. И до тех пор, пока рабочий класс не решится на восстание, на вооруженную борьбу с своей буржуазией, до тех пор никакие выборы не определят полностью его силы.

И поэтому до сих пор самые демократические выборы в буржуазных государствах не могут прекратить тот сложный и хитрый политический пасьянс, который называется парла-

ментской борьбой. В своей классовой власти, в руководстве классовым государством буржуазия выработала страшно сложные и тонкие приемы борьбы. Среди этих приемов главное место занимает одурачивание избирателей программами и обещаниями, ажиотация, доходящая до авантюризма, хитрые системы блоков и компромиссов, игра на ближайших сегодняшних интересах, разжигание сегодняшней злобы дня, подачки, подкупы, наконец, сенсационные взрывы и повороты. В истории третьей французской республики хорошо известна история генерала Буланже, — мелкого и трусливого авантюриста, который, однако, долго потрясал Францию, воспользовавшись для этого очень простым средством: он выступил против системы парламентаризма. И Париж, так недавно переживший опыт Коммуны, только потому подержал Буланже, что понимал всю гниль и безнравственность тогдашней парламентской борьбы. Сыграв на этом чувстве презрения, Буланже собрал 244 000 голосов. Тщетными оказались голоса рабочего класса, представители которого писали в воззвании:

«Солдафон Буланже и хозяйчик Жак (противник Буланже) — оба они принадлежат к одному и тому же классу ваших врагов, который вот уже сто лет держит ваш класс, пролетарскую Францию, на голодном режиме и угощает вас свинцовыми пулями. Если вы не желаете больше быть в дураках, то оставьте ваши голоса для себя, а этих обоих, эксплуататора и убийцу, поставьте к одной и той же избирательной стене, — в ожидании дальнейшего.

Отправьтесь к избирательным урнам сплоченными рядами, пройдите по телам изменников с криками: «Да здравствует пролетариат, да здравствует социалистическая революция, да здравствует Буле!»

Буле — фамилия кандидата рабочей партии, — землекопа.

И Буле получил только 16 000 голосов. Почему? Потому, что Буле призывал к социалистической революции, то есть к такому действию, к которому парижане в данный момент не готовились, которое требовало

войны и жертв. А Буланже играл на чувствах сегодняшнего дня, играл на ненависти к политическим заправилкам.

Он оказался самым жалким проходцем, он даже не смог воспользоваться плодами своей избирательной победы. И только поэтому он сбежал из Франции. Но сколько было таких же ярких и обещающих призывов, которые кончились обыкновенной политиканской карьерой депутата парламента, не принеся ничего народу.

Великая социалистическая революция избавила нашу страну от утонченной системы мошенничества и обмана трудящихся.

4

И вот сейчас мы, советский народ, держим в руках действительное избирательное право, действительно всеобщее, действительно равное, тайное и прямое. Наше выборное право есть действительно всеобщее, всесоюзное волеизъявление трудящихся.

Советский избирательный закон, советская избирательная кампания совершенно несравнимы с чем-нибудь подобным в другом обществе. Нет никакой плоскости, лежащей выше трудящихся, нет никаких сфер, обладающих непонятной для меня психикой, неизвестными мне планами и тактикой. Вокруг меня на всем пространстве СССР есть только трудящиеся, путь каждого из них ясен, ясны его способности, его заслуги, его стремления. Я вижу их всех привычным глазом товарища в привычном разрезе нашей солидарности. Никто не встанет против меня в чуждом для меня фраке или мундире, никто не будет лгать, никто не пообещает мне ничего сенсационного, никто не покажет мне углышек авантюры, уверяя меня, что это реформа. Нельзя обмануть гражданина СССР прошедшего не только двадцатилетний опыт свободы от эксплуататоров, но и двадцатилетний опыт невиданного в мире строительства, невиданного в истории народного творчества. В этом грандиозном опыте молодого советского народа больше гарантии его прав, чем в любом **ни-**

санном законе. Наше избирательное право — это прежде всего наша фактическая сила, коллективный результат наших народных побед.

Любого кандидата, который встретится на нашем избирательном пути, мы обязательно спросим, а какое участие он принял в социалистическом строительстве, какую энергию он отдал советскому народу, как он проявил свою личность в исторической нашей борьбе? И когда мы получим ответы на эти вопросы, для нас будет совершенно ясно, достоин ли этот человек быть избранным в Верховный Совет СССР. Среди критериев его кандидатской силы мы не будем интересоваться только одним, тем самым, чем особенно принуждены интересоваться на Западе. Мы не зададим ни одного вопроса, касающегося будущего.

Это, разумеется, звучит очень странно для западного уха, но наше будущее это та категория, в которой мы меньше всего сомневаемся. У всего советского народа есть одна программа, один план будущего, одна единодушная готовность продолжать строительство социализма в нашей стране, продолжать дело Ленина — Сталина во всем мире.

В этом совершенно исключительном явлении нашего морального и политического единства заключаются все гарантии и всеобщности, и равенства нашего избирательного права. Эти качества нашего закона и нашего права естественно вытекают из фактических отношений в Стране Советов. Выборное право трудящихся сделалось формой участия трудящихся в руководстве своей страной.